

DOI: 10.31857/S032103910022321-6

J. McNAMARA, V.E. PAGÁN (eds.). *Tacitus' Wonders: Empire and Paradox in Ancient Rome*. London—New York: Bloomsbury Academic, 2022. 296 p. ISBN: 978-1-3502-4172-5

Тематический сборник статей «Чудеса у Тацита: империя и невероятное в Древнем Риме», опубликованный под редакцией Джеймса Макнамары и Виктории Эммы Паган, посвящен рассказам о «чудесах», разных диковинах и совершенно невероятных вещах, дошедшим до наших дней в текстах Тацита. Участники этого коллективного труда задались целью проанализировать элементы парадоксографии у Тацита как историка («Анналы», «История») и биографа («Агрикола»), географа и этнографа («Германия»), при этом основной задачей авторов сборника стало изучение места и роли означенных элементов в Тацитовой концепции историописания (с. 4, введение). Казалось бы, парадоксография и исторический метод Тацита суть «вещи несовместные». Но это лишь на первый взгляд. В действительности мы встречаем у Тацита немало таких сюжетов, которые авторы настоящего сборника называют необычайно емким термином *wonders*.

Всего в сборнике 10 статей, которые распределены по трем главам. Первая глава — «Парадоксография и чудо» — открывается статьей Келли Шеннон-Хендерсон «Тацит и парадоксография» (с. 17–51). Исследовательница задалась вопросом, какое место в творчестве Тацита занимает описание «чудес». То, что в его текстах нередко встречаются разнообразные *miracula*, — факт несомненный. Как можно классифицировать эти *miracula* и какими методологическими установками руководствовался историк при работе с тем материалом, с которым обычно имели дело парадоксографы? По мнению К. Шеннон-Хендерсон, у них были принципиально разные подходы: парадоксографы приводили в своих сочинениях достойные удивления *miracula*, даже не пытаясь их объяснить или усомниться в их аутентичности (верификация не входила в число задач этих писателей), тогда как Тацит, создавая свои тексты, обычно выстраивал причинно-следственную связь, в которой означенные *miracula* играли подчиненную роль. И если для Флегонта Тралльского, греческого парадоксографа II в., появление на свет ужасающих монстров было всего лишь причудливым отклонением от биологической нормы, то в интерпретации Тацита оно же выступало в качестве рокового предзнаменования грядущих бедствий, к примеру, последних лет принципата Нерона (с. 22). Таким образом, сюжеты из области парадоксографии Тацит использовал с целью подготовить читателя к восприятию своих историографических концепций: например, описание непотребных забав Нерона в XV книге «Анналов» выступает как своего рода преамбула к повествованию о драматических событиях 64–66 гг.¹ Как же в этой связи следует понимать *miraculum*? По мнению автора статьи, для Тацита «чудом» являлось все то, что обычно вызывает удивление у человека, когда он сам с ним сталкивается или о нем читает. *Miracula* бывают двух видов: во-первых, это чудеса «естественного» (или противоестественного?) происхождения, как *mare rigum*, феникс, янтарь и проч., а также чудеса, так или иначе связанные с людьми. Яркий тому пример — сюжет, посвященный сбору янтаря племенами эстиев (*Germ.* 45). Любой парадоксограф на месте Тацита ограничился бы описанием самого феномена, тогда как историк не только приводит рациональное объяснение «чуда» (речь о насекомых, навеки застывших в окаменевшей смоле), но и дает свой комментарий, являющийся, по сути, реминисценцией темы «благородных дикарей» (с. 26–27). Другой характерный пример — история с «чудесами», явленными Веспасианом в Александрии (*Hist.* IV. 81–82). Здесь Тацит предлагает вниманию читателей верификацию сюжета: описан-

¹ См. на этот счет классическую работу Woodman 1992.

ные историком фантастические события якобы подтверждаются очевидцами, дожившими до того времени, когда Тацит писал «Историю» и когда им, по его мнению, уже не было никакого резона лгать (81. 3). Характерно, подчеркивает К. Шеннон-Хендерсон, что Тацит далеко не всегда предлагает читателю рациональное объяснение «чудес»; он использует этот прием только тогда, когда считает нужным (с. 34).

В статье «За пределами *iga* и *studium*: Тацит и эллинистическая тяга к удивительному» (с. 52–76) Рик Петерс развивает тему соотношения в сочинениях Тацита двух начал — рационального и «удивительного», прослеживая применительно к последнему связь историка с эллинистической традицией. Здесь возникает старая проблема достоверности историописания². Констатируя тот факт, что при описании «чудес» Тацит следует эллинистической традиции, автор обращается к Страбону, которого он не считает «историком в прямом смысле» (с. 54), хотя, как мы знаем, Страбон написал «Историю» в 43 книгах, не дошедшую до наших дней. Ключевым термином здесь становится *τὸ θαῦμα* — слово, означающее не только удивление, но и предмет или феномен, вызвавшие это чувство. По мнению Страбона, Полибия и Дионисия Галикарнасского, передача выдумок, небылиц, недостоверных слухов лишает историка доверия (Strab. XV. 1. 28; Polyb. III. 58. 9; Dionys. AR. I. 5. 3). Тацит был настроен аналогичным образом (Ann. IV. 11. 5; XI. 27. 1–2). В этой связи Р. Петерс обращает внимание на очевидное противоречие: с одной стороны, «удивительное» (*τὸ θαυμάσιον*, у Геродота это *ἔργα μεγὰ τε καὶ θωμαστά*, у Полибия — *παράδοξον καὶ μέγα*) легко может сбить историка с пути истинного, увлекая его в дебри недостоверного и тем самым лишая доверия читательской аудитории, а с другой — является критерием отбора информации, достойной фиксации в историческом труде, и привлекает к нему внимание тех же читателей (с. 60–61)³. Иными словами, «удивительное» и истина несовместимы, но занимательность повествования требует включения в его ткань примеров «удивительного». По мнению автора статьи, Тацит выходит из затруднительного положения, стараясь сохранять в своих текстах известный баланс: используя «чудеса», знамения и др. как литературный прием, он одновременно как бы дистанцируется от них, не вынося окончательного вердикта⁴ и сохраняя тем самым за собой репутацию писателя, заслуживающего доверия (примеры: Hist. I. 3. 2; II. 50. 2; Ann. I. 9. 1; II. 24. 7; VI. 28. 1–8⁵; Germ. 46. 4). Наконец, Р. Петерс ставит Тацита в один ряд с Лукрецием и Страбоном, имея в виду то, что все трое использовали в своих сочинениях *τὸ θαυμάσιον* с целью наставления и поучения читателя (с. 72).

Артур Поумрой («Удивление во второй речи Апра в «Диалоге об ораторах» Тацита», с. 77–91) обратился к теме удивления в смысле преклонения перед древними авторитетами в «Диалоге об ораторах». Вторую речь одного из героев «Диалога», Марка Апра (16. 4–23. 6), который аттестован в тексте как один из лучших римских ораторов того времени (14. 3), А. Поумрой назвал «своеобразной историей римского ораторского искусства» (с. 79). Констатируя тот факт, что в основе представленной в «Диалоге» дискуссии лежит вопрос о том, насколько Цицероновская модель ораторского искусства была актуальна во времена Тацита, при том что позиция на сей счет самого Тацита ясна не до конца⁶, автор статьи высказывает остроумное предположение: приняв «модифицированный Цицероновский стиль», Тацит отчасти признал первенство Цицерона (там же). На наш взгляд, А. Поумрой не учел того обстоятельства, что Тацит, который жил и делал карьеру при Флавиях, т.е. в то время, когда всей политической жизнью в Риме управлял *sapientissimus et unus* (Dial. 41. 4), не мог не относиться критически к потрясениям последних десятилетий сенатской Республики; выбирая между Римом Цицеро-

² Так, Диодор (I. 69. 7; X. 24. 1), Страбон (XI. 6. 3) и Лукиан (Ver. hist. II. 31; Quomodo hist. 39) критиковали Геродота и Ктесия Книдского за то, что те, стремясь привлечь читателей рассказами о «чудесах» и разного рода диковинах, занимались откровенными выдумками и тем самым дискредитировали звание историка.

³ Тот же Полибий, порицавший Филарха и Тимея за приверженность небылицам и диковинам, сам не чурался «удивительного», стремясь соединить в своем труде две функции историописания — поучение и развлечение (I. 1. 4; XV. 34. 1; 36. 1–7).

⁴ Вынести этот самый вердикт Тацит по умолчанию предоставляет читателю.

⁵ В высшей степени характерный пример. Историк подробно рассказал о чуде с фениксом и даже поставил его под сомнение, но не опроверг окончательно: «Все это недостоверно и приукрашено вымыслом, но не подлежит сомнению, что время от времени эту птицу видят в Египте» (Ann. VI. 28. 8. Здесь и далее пер. А.С. Бобовича).

⁶ Дискурс в историографии по этой проблеме продолжается по сей день (Goldberg 2009, 84).

на и Римом Веспасиана, он явно предпочел бы последний. В этой связи очень верную мысль высказал С.М. Голдберг: чтобы понять проблематику «Диалога», надо иметь в виду не «нашего» Цицерона, каким мы его себе представляем, а того Цицерона, каким его видели Тацит, Априан и их современники⁷. Проанализировав использование в «Диалоге» ряда однокоренных терминов (*mirus, miraculum, mirari, admirari*), А. Поумрой пришел к выводу, что глаголы *mirari* и *admirari* Тацит употребляет в значении «восхищаться» (*to admire*) (например, *Dial.* 22. 1: *illi antiquos mirabantur*, «они восхищались древними»). В частности, эти глаголы Тацит использовал тогда, когда устами Априана он подверг резкой критике слепое преклонение современников перед авторитетом ораторов прошлого (с. 83–84).

Завершает главу статья Брэндона Джонса «Похвала красноречию и брэнная слава: парадокс общественного восхищения в “Диалоге об ораторах” и “Агриколе” Тацита» (с. 92–115). В ней исследователь обратился к социальному аспекту проблемы «удивительного». Так, в «Диалоге об ораторах», по мысли Б. Джонса, речь идет об общественной значимости ораторского искусства: успешный оратор становится объектом восхищения, современники стремятся увидеть его собственными глазами. Даже если такого человека невозможно лицезреть самому, о нем можно узнать из рассказов других людей; в этой связи Тацит использует такие категории, как *fama, gloria, laus* (с. 94–95). Между тем прославленный оратор, поэт и адвокат Куриаций Матерн в своей речи доказывает, что в его время стяжать славу и известность благодаря ораторскому искусству нельзя (*Dial.* 41. 5). Как и в «Диалоге», в «Агриколе» слово *mirari* употребляется в социальном контексте: здесь объектом восхищения современников становится сам Гней Юлий Агрикола (*Agr.* 46. 4). Его позицию как объекта восхищения усиливает личная скромность героя (*Agr.* 18. 5–6; 40. 3–4; 42. 2). Сопоставляя «Диалог» (75 г.) и «Агриколу» (82 г.), Б. Джонс отмечает явную парадоксальность ситуации: во-первых, Матерн прославился благодаря своему красноречию в то время, когда, по его мнению, прославиться красноречием было невозможно⁸; во-вторых, Агрикола прославился благодаря своим добродетелям (*virtutes*) вопреки как собственной натуре (в личном плане он был скромным и непритязательным человеком)⁹, так и тираническому режиму Домициана (с. 100). В случае с Матерном Б. Джонс особо выделяет *laus eloquentiae*, а применительно к Агриколе — *fama rerum*; это те факторы, которые в представлении Тацита делают человека объектом восхищения современников. Прямая связь между этими факторами просматривается и в «Диалоге» (*Dial.* 5. 5–6; 12. 2), и в «Агриколе» (*Agr.* 39. 2). Таким образом, *res* и *eloquentia*, дела и речи, суть две стороны одной медали. По мнению Б. Джонса, *fama* у Тацита — это «добрая молва» при жизни и ни в коем случае не посмертная слава. Здесь, как нам кажется, автору статьи следовало бы акцентировать то важное обстоятельство, что «добрую молву», сопровождавшую деяния Агриколы, Тацит ставил гораздо выше той *laus*, которая в его времена была сопряжена с именами Траяна Пета и других представителей т.н. «стоической оппозиции», избравших для себя *mors ambitiosa* — «впечатляющую, но бесполезную для государства смерть» (*Agr.* 42. 4)¹⁰. Для Тацита это была принципиальная позиция; Р. Сайм считал, что таким образом историк не только защищал память своего тестя, но и оправдывал собственный «оппортунизм» в годы тирании Домициана¹¹.

В конечном счете исследователь приходит к выводу, что восхищение со стороны общества кем-то помимо императора и принципата были несовместимы («лишь один человек мог быть первым»). Император (тот же Домициан) стремился быть единственным объектом общественного восхищения, тогда как его невольному конкуренту на этом поле (такому как Агрикола) личная безопасность отнюдь не гарантировалась (с. 101)¹². Статья Б. Джонса сопровождается двумя небольшими приложениями, посвященными знаменитым женщинам в «Диалоге» и «Агриколе», а также феномену общественного восхищения в «Германии».

Вторая глава — «Интерпретация примеров удивительного» — включает три статьи. Первая из них, «Чудесные знамения: примеры удивительного как метаистория в “Анналах”, кн. 6»

⁷ Goldberg 2009, 81.

⁸ Речь идет о последних годах правления Веспасиана.

⁹ *Agr.* 18. 6: «скромность, с какою он говорил о своих славных деяниях, только приумножила его славу».

¹⁰ О «претенциозной смерти» (*mors ambitiosa* или *mors voluntaria*) у Тацита см. Nikishin 2012, 99.

¹¹ Syme 1958, I, 25.

¹² Недаром Тацит сообщает о слухах об отравлении Агриколы по приказу Домициана (*Agr.* 43. 2).

(с. 119–145), написана Джорджем Бароудом и посвящена месту и роли «чудес» (*miracula*) в исторических текстах Тацита. Автор считает, что пассажи вроде сюжета с Лжедрузом (*Ann.* V. 10. 1–5) или эпизода с астрологом Фрасиллом (*Ann.* VI. 21. 1–5) важны для понимания взглядов Тацита как историка и мыслителя. Характерно, что Тацит зачастую оставляет открытым вопрос об аутентичности всех этих *pocha* и *mira*, предоставляя читателю возможность принять участие в процессе верификации и самому вынести вердикт, равно как и поразмышлять на более глубокие и важные темы историографического и философского характера: какова природа исторической истины и какими методами мы можем постигать прошлое (с. 120). Благодаря такому подходу Тацита, по мнению Дж. Бароуда, в его сочинениях происходит сближение «удивительного» и политической истории, от правильной интерпретации первого зависит верное понимание второй (с. 122). В этом плане показателен сюжет с Лжедрузом, о котором говорилось выше. Здесь мы сталкиваемся с тремя моделями восприятия фантастической версии самозванца: первая — легковверный энтузиазм неопытной молодежи, непостоянного в своих настроениях плебса и падких на всякие чудеса и суеверия «людей Востока», т.е. греков и азиатов; вторая — здравый скептицизм македонского наместника Поппея Сабина; наконец, третья — это критический подход к делу самого Тацита. Позиция последнего сильна тем, что он как автор устанавливает четкую границу между тем, что знает твердо, и тем, чего не знает или в чем сомневается, а также заставляет читателя думать самостоятельно и делать собственные выводы относительно «чудесного» и «невероятного» (с. 123–124). В тексте сохраняется определенная недосказанность, позицию автора нельзя назвать однозначной: Дж. Бароуд характеризует такой подход как «историографическую осторожность» (*historiographic caution*), которая не дает историку увлечься и впасть в заблуждение. В представлении Тацита, легковверие толпы, всегда готовой верить самым невероятным слухам, создает серьезную угрозу правопорядку в Империи, и без того пошатнувшегося к концу правления Тиберия; хорошо, что в данном конкретном случае нашелся такой здравомыслящий и решительный администратор, как Сабин, который быстро овладел положением, однако вдумчивый читатель понимает, что в перспективе так будет не всегда (с. 125).

Дж. Бароуд также обращается к теме пророчеств и предсказаний у Тацита, проанализировав главы 20–22 из VI книги «Анналов», посвященные астрологическим опытам Тиберия и Фрасилла. По мысли исследователя, здесь Тацит фокусирует внимание на верификации и интерпретации конкретных предсказаний (с. 128). Дж. Бароуд приходит к следующим выводам: авторские отступления Тацита способствуют коммуникации между историком и читателем, что помогает последнему выстроить некую корреляцию между «чудесами», собственно авторским повествованием и достоверностью; Тацит не боится лишний раз напомнить об ограниченности своего собственного знания; историк моделирует нечто вроде сократического «незнания», как бы приглашая читателя принять его осторожный и взвешенный подход к делу; таким образом, читатель вовлекается в процесс верификации «чуда» наряду с самим автором и его персонажами (с. 131). Пример упомянутого процесса верификации — «дискуссия» о фениксе в 34 г. (*Ann.* VI. 28. 1–8), заочными участниками которой становятся персонажи нарратива (в данном случае *doctissimi* из числа греков и египтян), сам историк и читатель (с. 133–137). По словам Дж. Бароуда, в VI книге «Анналов» Тацит «показывает, как разные читатели интерпретируют эти невероятные происшествия, и кажется, что их возраст, уровень образования и этническая идентичность — это все показательные маркеры их эвристической компетентности» (с. 137).

К теме интерпретации «чудес» обращается Каллум Алдис в статье «*Prodigiosum dictu*: интерпретация знамений и оракулов в “Истории” Тацита» (с. 146–169). Автор исходит из допущения, что одно и то же «чудо» Тацит и какой-нибудь парадоксограф вроде Флегонта Тралльского интерпретировали бы по-разному: для Тацита это будет предзнаменование важного исторического события, которое должно произойти в будущем, для Флегонта — просто курьез, и только. Поскольку в Риме к религиозным ритуалам были допущены лишь определенные группы населения, из которых рекрутировались жрецы и магистраты, скептицизм граждан чаще всего возникал в отношении не самой религии, а интерпретации конкретных знамений (*prodigia*) (с. 147). В своих текстах Тацит ясно дает понять, что лишь избранным интеллектуалам, сведущим и опытным гражданам (т.е. представителям правящей элиты, включая императоров и полководцев) присуще правильное понимание отношений между человеком и богами (*religio*), тогда как уделом невежественной толпы (*vulgus*) является «суеверие» (*superstitio*) (*Cic. Nat. deor.* II. 72). По мнению К. Алдиса, интерпретация «чудесных» явлений зависела от уров-

ня религиозной «экспертизы», т.е. от того, кто именно осуществлял эту самую интерпретацию (с. 149). Исследователь констатирует, что, по мысли Тацита, в смутные времена происходит явный перекося от *religio* в пользу *superstitio*, когда или знамения неправильно интерпретируются, или неординарные события неверно трактуются как *prodigia* (с. 153). Таким образом, когда речь заходила о *prodigia*, Тацит учитывал такие категории, как авторитет и знание, *religio* и *superstitio*. Впрочем, историк их явно проигнорировал, когда писал в первых книгах «Истории» о тех знамениях, которые в его представлении легитимизировали приход к власти династии Флавиев (с. 165).

Глава завершается статьей Джеймса Макнамары «Интерпретация чудес в “Агриколе” и “Германии”» (с. 170–193). Исходя из того факта, что «чудеса» в античной традиции зачастую связаны с отдаленными местами и чужеземными обычаями, т.е. лежат на пересечении географии и этнографии, исследователь обратился к материалу «Агриколы» и «Германии», которые, можно сказать, идеально отвечают указанным критериям. По мнению Дж. Макнамары, для Тацита *miracula* из области географии и этнографии были порождены, с одной стороны, невежеством несведущих людей (*inperiti*), а с другой — любознательностью людей образованных (*dosti*). Таким образом, рациональное и иррациональное начала у Тацита сопутствуют друг другу (с. 170). В «Агриколе» Тацит пишет о географии и этнографии Британии в связи с тем, что под руководством его тестя произошло завоевание острова. Успехи Гнея Юлия Агриколы историк связывает с прекрасным знанием театра военных действий, которое проявил полководец, а также с присущими ему образованностью, мудростью и опытом, благодаря которым Агрикола одержал верх не только над воинственными британскими племенами, но и над самой природой на краю земли (с. 175). На наш взгляд, в своем очерке, посвященном «Агриколе» (с. 171–176), Дж. Макнамара не уделил должного внимания географической проблематике, сосредоточившись почти исключительно на философии (имеется в виду учение Эпикура в изложении Лукреция); между тем одна только проблема локализации Туле (*dispecta est Thule: Agr. 10. 4*) занимает видное место в посвященной Тациту историографии¹³. По мнению автора статьи, в лице Агриколы соединились доблесть (*virtus*), разум (*ratio*) и искусство (*ars*), которые побеждают все иррациональное, включая фантастические выдумки и суеверия. Поэтому в биографии полководца нет никаких *miracula*, за исключением *magnum et memorabile facinus* когорты узишетов (*Agr. 28. 1–5*).

Совсем иная картина наблюдается в «Германии». Тацит персонифицирует Океан, который действует в его повествовании как разумное существо, и пишет о северных Геркулесовых столбах, которые то ли существуют, то ли нет (*Germ. 34*). Повествуя о таинственном культе богини Нерте без каких бы то ни было намеков на скептицизм (*Germ. 40*), Тацит в очередной раз предоставляет читателю возможность самому рационально осмыслить сообщаемую историком информацию, используя характерную оговорку: *si credere velis* («если угодно поверить»). Автору статьи, по нашему мнению, стоило бы подчеркнуть факт, который в настоящее время является общим местом в историографии, а именно: известную вторичность «Германии» как исторического источника¹⁴. Как справедливо заметил в свое время Р. Сайм, «если Корнелий Тацит когда-либо бывал на Рейне, в “Германии” он никак не дает это почувствовать»¹⁵. Опираясь на труды предшественников и используя информацию из вторых рук, не исключая слухи и домыслы, Тацит, на наш взгляд, априори сделал «Германию» сборником разнообразных «чудес» географического или этнографического характера. Как бы то ни было, по мнению Дж. Макнамары, Тацит четко разделяет веру и знание; если знания нет, его заменяют такие порождения грубого невежества и первобытного страха, как слухи, суеверия или благоговейный трепет (*sancta ignorantia*). Удивление, порожденное невежеством, в текстах историка сменяется удивлением, вызванным любознательностью (с. 185). Таким образом, как считает Дж. Макнамара, Тацит в известном смысле изменил представление современников о «чудесах» и «удивительном». Он вовсе не стремился разоблачать *miracula*; так, походы Агриколы — сами по себе предмет удивления, однако мудрый полководец-философ лично рассеивает все слухи и предрассудки. Напротив, в «Германии» разного рода слухи и суеверия расцветают и беспрепятственно множатся; причина этого — невежество римлян по отношению к Германии и германским племенам

¹³ Birley 2009, 52–56.

¹⁴ Thomas 2009, 59.

¹⁵ Syme 1958, I, 126–127.

(как не согласиться с таким доводом, учитывая все вышесказанное!). Таким образом, Тацит убедительно демонстрирует читателю: даже если объяснить все *miracula*, все равно останется мир, гораздо более обширный, нежели то пространство, которое сумела охватить своими «подвижными пределами» Римская империя. В конечном счете главное «чудо» в Тацитовой «Германии» — это тот факт, что германцы с их свободолобием так долго сопротивлялись римской экспансии (с. 186).

Третья, заключительная, глава сборника («Принципат как предмет удивления»), как и вторая, содержит три статьи. Автор первой из них («*Qualem diem Tiberius induisset*: изоляция Тиберия на Капри как повод для недоумения и замешательства», с. 197–220), Панайотис Христофору, исходя из тезиса о важности саморепрезентации всякой власти (не говоря уже о власти абсолютной), считает, что темперамент Тиберия пришел в непримиримое противоречие с публичным характером императорской власти; самоизоляция на Капри императора-интроверта, сознательно избегавшего всякой публичности, по мысли исследователя, крайне негативно повлияла на его репутацию в римской историографии; недоступность Тиберия, его неучастие в общественной жизни способствовали циркуляции самых невероятных слухов о правителе, который уединенно жил на пустынном острове, находясь в плену выдуманной им реальности (с. 197). П. Христофору проанализировал те места у Тацита, где историк повествует о «странностях» (*mirabilia*) Тиберия. Исследователь выделяет дихотомию образов Тиберия и Германика. Они антагонисты: если Тиберий — надменный и скрытный человек, создающий некую эмоциональную видимость (*vultus*) и тщательно скрывающий свои истинные чувства (*animus*), «человек-загадка»¹⁶, опасный для окружающих мизантроп, то Германик — напротив, открытый и обходительный жизнелюб. По мнению П. Христофору, где у Тацита реальный Тиберий, а где придуманный — решить очень непросто; эта проблема стала следствием уединения Тиберия на Капри — ведь Тацит, как считает автор статьи, черпал вдохновение в тех самых слухах и рассказах, порожденных самоизоляцией «островного императора». Здесь происходит сближение историописания и биографического жанра с присущими последнему крылатыми выражениями и историческими анекдотами. Как полагает П. Христофору, дело даже не в их аутентичности: довольно и того, что эти свидетельства эпохи отражают имидж того или иного императора и отношение современников к первым лицам государства (с. 202–203). Исследователь высказывает весьма интересную мысль: по мере расширения пределов империи принципс как бы «берет под свой контроль» разного рода природные феномены, все эти *mirabilia*, *prodigia*, *monstra*, *ostenta*, *ludibria*, *miracula*, и в результате сам становится таким *monstrum*. И в самом деле, чем не феномен? Загадочный правитель, увлеченный астрологией и проживающий в уединении на таинственном острове (с. 205–206). Обратившись к теме «Тиберий и астрология», П. Христофору явно увлекся, приписав Тациту стремление создать образ правителя-астролога, который сам стал загадкой для современников; по мнению автора статьи, Тацит намеренно сближает описания Родоса и Капри (*Ann.* IV. 67; VI. 21). Вряд ли это так, но дело не в этом. Тема астрологии, безусловно, помогла Тациту сделать Тиберия «императором-загадкой» (с. 210). Образ Тиберия у Тацита, по мысли П. Христофору, получился довольно противоречивым: с одной стороны, это человек маниакально подозрительный и свирепый, внушающий ужас своей жестокостью, прямо-таки *monstrum fatale*; с другой — мудрый и прозорливый, в совершенстве овладевший наукой халдеев. Яркий тому пример — эпизод с испытанием Фрасила (Тас. *Ann.* VI. 21. Ср. Suet. *Tib.* 14. 4; Dio Cass. LV. 11. 2). На самом деле Тиберий в представлении Тацита — это персонаж не столько противоречивый, сколько многогранный; как о нем однажды уже было сказано, «“портрет Тиберия” состоит из целого ряда модификаций или корректировок, как если бы он фотографировал свой объект с нескольких разных ракурсов и при разном освещении: ни один из кадров, будь то крупный план или нет, не противоречит другому, но каждый производит иной эффект» (Martin, Woodman 1989, 31).

В статье Холли Хайнс «Трагедийный прием у Тацита: Веспасиановы чудеса исцеления в *Hist.* IV. 81–83» (с. 221–244) проанализированы три эпизода из «Истории», связанные с пребыванием Веспасиана в Александрии: сеанс исцеления недужных, визит императора в храм Се-

¹⁶ Тацит настойчиво проводит мысль о том, что понять истинные помыслы Тиберия было невозможно (*Ann.* II. 35. 2; III. 22. 2; IV. 60. 2).

раписа и небольшой очерк, посвященный происхождению этого синкретического божества¹⁷. Исследовательница считает, что Тацит как писатель испытал на себе известное влияние греческой трагедии и время от времени использовал в своих текстах поэтические приемы. По мысли Х. Хайнс, Тацит воспринял созданную греческими трагиками дихотомию стремящегося к политической свободе гражданского коллектива и абсолютной монархической власти, претендующей на божественное происхождение и зачастую являющейся источником самого грубого и жестокого произвола. Отсюда проистекает и взгляд историка на принципат как на некую систему символов¹⁸, с одной стороны, тираническую по своей сути, а с другой — глубоко трагическую (с. 221–222). В первых двух из трех упомянутых эпизодов Тацит, как полагает Х. Хайнс, стирает границу между *ius* и *fas*, между политической реальностью и поэтическим вымыслом: «чудотворец» Веспасиан «затмил» Сераписа, который в конечном счете «исчез» из повествования, а император был отождествлен с Юпитером Дитом. Таким образом, Тацит в своем нарративе соединил политический факт — провозглашение Веспасиана императором в 69 г. — и сакрализованный поэтический вымысел — чудеса, явленные новым принципсом в Александрии (с. 223). Сопоставляя сюжеты «Истории» Тацита и трагедии Софокла «Царь Эдип», исследовательница обращает внимание на экзистенциальные конфликты между судьбой и свободой, сакральным и политическим, природой и человеком. По мнению Х. Хайнс, употребление Тацитом глагола *consulere* означает, что Веспасиан и Серапис в упомянутом эпизоде (*Hist.* IV. 82. 1–2) находятся на одном и том же уровне, т.е. оба являются божествами; так историк осуществляет сакрализацию императорской власти (с. 228). Как считает исследовательница, Тацит намеренно дискредитирует привнесенную в Рим из Египта эллинистическую теологию, лежавшую в основании обожествления Флавиев (*Hist.* IV. 83. 1–84. 5), и возвращается к «национальной» идеологии; это видно из того, что Сераписа в тексте «заменял» Юпитер Дит (с. 230–231). Логика Х. Хайнс такова: поскольку в основании греческой трагедии лежит конфликт между человеческим и божественным, между правами граждан и волей абсолютного монарха, апеллирующего к божественному происхождению своей власти, римская политика «нуждалась» в греческой трагедии, поскольку изначально существовал риск превращения императорской власти в тиранию; этот процесс ускорился при Веспасиане (отправная точка — «чудеса», явленные принципсом в Александрии) и достиг своего апогея в правление Домициана. Тезис о том, что, описывая в своих произведениях конфликт между гражданским обществом и императорским авторитаризмом, Тацит вдохновлялся лучшими образцами аттической драмы вроде «Царя Эдипа», представляется нам весьма спорным, ибо прямых доказательств этому нет. Утверждение автора статьи, будто греческая трагедия формирует весь философский горизонт в произведениях Тацита (с. 234), безусловно, является сильным преувеличением.

В статье «Обычные чудеса у Тацита» (с. 245–265) Виктория Эмма Паган переместила акцент с традиционных *miracula* (см., например, *Ann.* II. 24. 7) на события повседневной политической практики, которые описывал Тацит. Разумеется, он, как и многие другие писатели, отдал дань возникшей в эпоху эллинизма парадоксографии; однако эта, говоря словами Эмилио Габбы, «псевдоисторическая» литература, адресованная не рафинированному интеллектуалу, а заурядному обывателю¹⁹, не могла оказать серьезного влияния на творческий метод Тацита, весьма ответственно подходившего к отбору материала (*Ann.* IV. 32. 1–4; XIII. 31. 1). Главный тезис исследовательницы состоит в том, что самым удивительным в текстах Тацита является вовсе не рассказ о фениксе, а повествование о недостойных поступках представителей римской элиты, для которых нравственная трусость стала вовсе не исключением из правила, а нормой жизни (с. 248–249). В.Э. Паган считает, что ключевыми для понимания отношения Тацита к дихотомии «ординарное — необычное» являются четыре сюжета: появление феникса в Египте (*Ann.* VI. 28. 1–8), исцеление недужных Веспасианом в Александрии (*Hist.* IV. 81. 3), описание получеловеческих существ в самом конце «Германии» (*Germ.* 46. 4) и эпизод с кан-

¹⁷ Еще раньше на «чудеса», связанные с именем основателя династии Флавиев, обратила внимание Дорит Энгстер в статье «Император как чудотворец», отметив, что публичные «исцеления» свидетельствовали об императорской харизме Веспасиана и тем самым легитимизировали его власть (Engster 2010, 295).

¹⁸ Недаром у него появляется такое словосочетание, как *imperii arcanum*, т.е. «тайна императорской власти» (Тас. *Hist.* I. 4. 2).

¹⁹ Gabba 1981, 53.

нибализмом узипетов в «Агриколе» (*Agr.* 28. 3–4). По мнению исследовательницы, феникс, полулюди и каннибалы не заслуживают серьезного внимания, тогда как «обычный мир рутинной политики» был гораздо более «удивительным и ужасным», чем мы привыкли думать (с. 249). Не со всеми умозаключениями В.Э. Паган можно согласиться; так, задавшись вопросом, почему феникс у Тацита «явился» именно в 34 г., исследовательница предположила, что ключевую роль здесь сыграло консульство Луция Вителлия. Почему? Потому, что в 69 г. принцепсом на несколько месяцев стал Авл Вителлий, сын Луция, а Тацит хотел привлечь внимание читателей к событиям «года четырех императоров» (с. 259). На наш взгляд, это абсолютно искусственное и надуманное построение. В рассказе о *magnum et memorabile facinus* узипетов (*Agr.* 28. 1) В.Э. Паган видит политический контекст: по ее мнению, тема каннибализма содержала намек на ужасы тирании Домициана (с. 252). Впрочем, здесь автор статьи апеллирует к авторитету Рианнон Эш²⁰. Как бы то ни было, и эта версия выглядит совершенно неправдоподобно. По мнению исследовательницы, наибольший кредит доверия от читательской аудитории Тацит получает тогда, когда признает, что не уверен в достоверности сообщаемой им информации (с. 253). Поскольку «необычное» в представлении Тацита — это в первую очередь отклонение от нормы, важно понять, как именно историк представлял себе эту норму²¹. В.Э. Паган приводит конкретные примеры, в числе которых «неординарное» появление Агриппины Младшей перед фронтом римских войск (*Ann.* XII. 37. 6), невиданный по масштабу пожар Рима в 27 г. (*Ann.* IV. 64. 1), необычная погода накануне убийства Гальбы (*Hist.* I. 18. 1), принятое у бритtanцев и немыслимое для римлян предводительство женщин на войне (*Ann.* XIV. 35. 1). При Юлиях—Клавдиях и Флавиях лъстивая покорность представителей элиты воле императора была обычным делом, неповиновение — исключением (*Ann.* XIV. 12. 2). Между тем «ординарным» поведением Тразеи Пета была защита в сенате «недоброжелателей» Нерона (*Ann.* XVI. 28. 4). Таким образом, по мысли В.Э. Паган, эталоном «ординарного» у Тацита является повседневная норма поведения; просто во времена Империи норма изменилась, и эта перемена оказалась роковой для Тразеи Пета, ибо, по выражению исследовательницы, «при тирании не существует нормального поведения» (с. 260).

Авторы сборника, проанализировав тексты Тацита, определили место и роль «чудес» и других элементов традиционной для античной литературы парадоксографии в творчестве выдающегося римского историка. Главный вывод, к которому мы приходим по прочтении сборника, таков: все эти *miracula*, *mirabilia*, *prodigia* и др. играют у Тацита сугубо второстепенную, подчиненную роль, в чем заключается принципиальное отличие автора «Германий» и «Анналов» от парадоксографов вроде Флегонта Тралльского. Искушенный писатель, не только аналитик, но и стилист, Тацит не мог пройти мимо указанных сюжетов, поскольку те объективно расширяли его читательскую аудиторию. Однако суть заключается в том, что все они работали на конкретные поставленные им цели в рамках создания таких прославленных произведений, как «Анналы», «История», «Германия», «Агрикола», «Диалог об ораторах». Верификация «чудес» была здесь совершенно не обязательна: предоставляя читателю самому определить степень аутентичности всех этих *wonders* и сделать вывод лично для себя, Тацит, с одной стороны, сохранял свое реноме серьезного, заслуживающего доверия автора, чуждого откровенных выдумок и завлекательных рассказов («хлеб» парадоксографов), а с другой — ненавязчиво вовлекал читателя в свой творческий процесс, глубокий и разноплановый. Безусловно, означенный сборник является существенным вкладом в интернациональную историографию, посвященную Тациту.

Литература / References

- Ash, R. 2010: The Great Escape: Tacitus on the Mutiny of the Usipi (*Agricola*, 28). In: C. S. Kraus, J. Marincola, C. Pelling (eds.), *Ancient Historiography and its Contexts: Studies in Honour of A. J. Woodman*. Oxford, 275–293.

²⁰ Ash 2010, 292.

²¹ В.Э. Паган приводит цифровые выкладки на сей счет: формы глагола *solere* в сохранившемся тексте «Анналов» встречаются 51 раз, в «Истории» — 22 раза, в то время как негативные формы этого глагола зафиксированы 9 раз в «Истории» и лишь дважды — в «Анналах» (с. 254).

- Birley, A.R. 2009: *The Agricola*. In: A.J. Woodman (ed.), *The Cambridge Companion to Tacitus*. Cambridge, 47–58.
- Engster, D. 2010: Der Kaiser als Wundertäter – Kaiserheil als neue Form der Legitimation. In: N. Kramer, C. Reitz (Hrsg.), *Tradition und Erneuerung: Mediale Strategien in der Zeit der Flavier*. Berlin–New York, 289–307.
- Gabba, E. 1981: True History and False History in Classical Antiquity. *Journal of Roman Studies* 71, 50–62.
- Goldberg, S.M. 2009: The Faces of Eloquence: The *Dialogus de oratoribus*. In: A.J. Woodman (ed.), *The Cambridge Companion to Tacitus*. Cambridge, 73–84.
- Martin, R.H., Woodman, A.J. (eds.) 1989: *Tacitus, Annals. Book IV*. Cambridge, 1989.
- Nikishin, V.O. 2012: [The Phenomenon of *mors Romana* in the Period of the Julio-Claudian Principate]. In: N.D. Kryuchkova (ed.), *Stavropol'skiy al'manakh Rossiyskogo obshchestva intellektual'noy istorii* [*The Stavropol Almanac of Russian Intellectual History Society*]. Issue 13. Stavropol, 90–101.
- Никишин, В.О. Феномен *mors Romana* в период принципата Юлиев–Клавдиев. В сб.: Н.Д. Крючкова (отв. ред.), *Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории*. Вып. 13. Ставрополь, 90–101.
- Syme, R. 1958: *Tacitus*. Vol. I–II. Oxford.
- Thomas, R.F. 2009: The *Germania* as Literary Text. In: A.J. Woodman (ed.), *The Cambridge Companion to Tacitus*. Cambridge, 59–72.
- Woodman, T. 1992: Nero's Alien Capital: Tacitus as Paradoxographer (*Annals* 15. 36–37). In: T. Woodman, J. Powell (eds.), *Author and Audience in Latin Literature*. Cambridge, 173–188.

Vladimir O. Nikishin,

Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russia

E-mail: cicero74@mail.ru

В.О. Никишин,

К.И.Н.,
доцент кафедры истории древнего мира
исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова,
Москва, Россия